Пролог

Хейзен не то чтобы был незаметным — это предполагало бы, что кто-то вообще на него смотрит. Он просто существовал, длинная тень, скользящая по университетским коридорам, его кудрявые коричневые волосы вечно падали на лоб, и он машинально отбрасывал их назад тонкими, бледными пальцами. Круглые очки сползали к кончику носа, делая его похожим на иллюстрацию из старого, забытого издания. Поэтому прозвище приклеилось мгновенно, еще на первой неделе первого курса. «Эй, Поттер, свиток с заклинанием уронил!» — крикнул ему кто-то с балкона столовой, когда Хейзен споткнулся на лестнице, и его тетради веером разлетелись по кафельному полу. Смех был громким, долгим и беззлобным в своей жестокости. Хейзен тогда молча собрал листы, чувствуя, как краснеют мочки ушей.

Теперь он почти не реагировал. «Гарри Поттер» — это было не имя, а ярлык, наклеенный на лоб, поверх вечно нахмуренных бровей. Друзей у Хейзена не было. Не потому, что он был злым или странным — он просто не умел встраиваться в тот быстрый, громкий ритм, которым жили остальные. Он был слишком высоким, чтобы слиться с толпой, и слишком слабым, чтобы занять в ней место. Его плечи всегда были чуть ссутулены, а руки, длинные и неуклюжие, словно жили сами по себе, вечно что-то задевая, роняя или ломая.

Дома его тоже никто не ждал. «Неуклюжий, вечно витаешь в облаках, — говорил отец, не поднимая глаз от телевизора, когда Хейзен входил. — От тебя одни проблемы». Мать вздыхала, поправляя скатерть, за которую он случайно зацепился, и в этом вздохе было столько усталой безнадежности, что Хейзену хотелось провалиться сквозь землю. Он перестал ждать от них любви задолго до того, как научился завязывать шнурки. Их безразличие было привычным, как его собственная кожа, — он просто научился существовать внутри него.

Поэтому библиотека стала его единственным домом. Не главный читальный зал с высокими потолками и мраморными колоннами, где всегда было людно, а дальняя секция, «Литература древних цивилизаций», куда почти никто не заглядывал. Здесь пахло пылью, старым клеем и тишиной, которая была густой, почти осязаемой. Хейзен сидел за самым дальним столом, у окна, выходящего в глухой двор. Свет от настольной лампы выхватывал из темноты его руки, перебирающие страницы учебника по истории искусств, и стопку книг по семиотике, которые он взял для курсовой.

Он писал что-то в тетради, когда его взгляд зацепился за корешок, торчащий на нижней полке стеллажа у самой стены. Хейзен знал эту секцию наизусть — он перебрал здесь почти всё за два года. Но этой книги он не помнил. Корешок был темно-серым, без названия, и казалось, что он поглощает свет, а не отражает его. Хейзен, вечно ведомый

неуместным любопытством, отложил ручку и, стараясь не греметь стулом, подошел ближе.

Пришлось сесть на корточки. Книга была огромной, форматом больше альбома по архитектуре, и лежала горизонтально, придавленная более современными изданиями. Когда он вытащил её, пальцы ощутили странную, непривычную фактуру — это не был ни картон, ни кожа. Обложка напоминала высохшую, окаменевшую кору, шершавую и прохладную. На ней не было ни букв, ни тиснения, только едва заметный узор, похожий на морозные разводы на стекле.

Хейзен отнес книгу на свой стол, сдул с неё пыль, которая почему-то не пахла плесенью, а отдавала сухой горечью, будто перегоревшая лампочка. Открыл.

Внутри его ждало разочарование. Все страницы, которые он перелистывал, были залиты бледно-серой, акварельной размытостью. Буквы, если они там и были, расплывались в пятна, не желая складываться в слова. Линии, которые могли быть рисунками, текли и теряли форму, стоило лишь сфокусировать на них взгляд. Создавалось впечатление, что книга болеет, что её содержание стерлось не временем, а каким-то внутренним, насильственным усилием.

Он почти закрыл её, когда на середине книги, между двух пухлых, склеенных по краям листов, обнаружил разворот, который отличался от остальных. Размытость здесь была другой — не хаотичной, а скорее скрывающей. Под слоем мутной, молочной пелены угадывались четкие линии. Хейзен приблизил лицо, очки почти коснулись страницы. Это была карта. Или то, что от неё осталось. Он разглядел неровную береговую линию, несколько тонких жилок рек, но все названия были стерты, превращены в бесформенные кляксы. В левом верхнем углу, там, где, вероятно, должен был находиться компас, чья-то рука вывела не стрелку, а три маленьких дракона. Они были нарисованы углем или очень мягким карандашом, с поразительной детализацией: сложенные крылья, длинные хвосты, оскаленные пасти. В отличие от остальной карты, эти рисунки были резкими, живыми. Хейзену даже показалось, что один из них, самый маленький, приоткрыл пасть шире, чем секунду назад. Он моргнул. Нет, померещилось.

Пальцы сами потянулись к уголку страницы, чтобы перевернуть её, но наткнулись на что-то твердое. Между листов, в самом сгибе корешка, лежало перо. Оно было необычным — не стальное, не гусиное. Стержень казался металлическим, но черным, матовым, и на ощупь напоминал остывший пепел. Опушка — если это можно было так назвать — была не из перьев, а из тончайших, почти невесомых нитей, которые переливались всеми цветами радуги, но какими-то тусклыми, больными оттенками.

Хейзен осторожно вынул перо. На металлической части, у самого основания, он разглядел надпись. Буквы были выгравированы, но словно кто-то долго тер их наждаком, превращая в едва заметные бороздки. Хейзен вертел перо в руках, подносил к лампе, щурился, но не мог разобрать ни одного слова. Язык был ему незнаком, а символы — если это вообще были символы — выглядели как трещины на высохшей глине. Он провел большим пальцем по гравировке, пытаясь на ощупь угадать рисунок.

И тут его вечная, проклятая неуклюжесть дала о себе знать. Палец дрогнул, локоть дернулся, и перо, описав в воздухе дугу, с глухим стуком упало на раскрытую книгу. Хейзен рванулся, чтобы подхватить его, но было поздно. Металлический стержень ударился о твердый угол корешка и переломился пополам с тонким, стеклянным звоном. Из места излома вырвалась не искра, а струйка черного дыма — густого, пахнущего грозой и старым мхом.

— Черт, — выдохнул Хейзен, глядя на две половинки пера, лежащие на развороте с картой.

Он потянулся, чтобы убрать обломки, и в этот момент понял, что страницы под его руками больше не твердые. Книга изменилась. Поля, с которых он не сводил глаз, начали стремительно расплываться, но не в серую муть, а в черноту. Чернила, которыми были нарисованы драконы, потекли, превратившись в глубокие, маслянистые лужи. Три рисунка слились в один, и из этой черной, блестящей глади на Хейзена уставились четыре, шесть, восемь желтых глаз.

Он хотел отдернуть руки, но не смог. Ладони прилипли к странице, как к липкой смоле. Книга тянула его, втягивала, засасывала. Он почувствовал, как его пальцы проваливаются сквозь бумагу, как будто та стала поверхностью зыбучего болота. Страх холодной волной ударил в живот, он попытался оттолкнуться, но стул под ним опрокинулся, а сам Хейзен, потеряв опору, навалился на разворот всем телом.

Свет библиотечной лампы вытянулся в тонкую, дрожащую нить, а потом погас. Звуки исчезли — не стало ни шелеста собственного дыхания, ни скрипа стеллажей. Тишина стала абсолютной, и в этой тишине Хейзен услышал, как бьется его собственное сердце — слишком гулко, слишком медленно.

Книга не просто втянула его — она раскрылась под ним, как пасть. Он падал лицом вниз, в холодную, густую тьму, которая не была пустотой. Она была живой. Она обтекала его тело, забираясь в рукава свитера, за шиворот, в уши, заполняя рот вязкой, безвкусной

тишиной. Он пытался закричать, но тьма вошла в него, и крик превратился в беззвучный спазм в горле.

Он больше не чувствовал рук, не чувствовал ног. Растворилась тяжесть собственного тела, осталось только сознание — маленький, перепуганный огонек, который стремительно несся вниз, в никуда. Ему казалось, что падение длится вечность. Он видел обрывки — то чей-то огромный глаз, проступающий из мрака и тут же исчезающий, то отблеск золота на чешуе, то очертания гор, которые были слишком близко и слишком далеко одновременно.

А потом огонек сознания мигнул и погас. Последнее, что он почувствовал, был удар. Не о землю, нет. Удар был внутри, словно кто-то захлопнул тяжелую, древнюю крышку, отрезая его от всего, что он знал. Тело перестало ему подчиняться. Сознание схлопнулось в точку.

Хейзен вырубился.

Он лежал ничком на чем-то холодном и влажном. Пахло землей, прелой листвой и чем-то еще — сладковатым и чужим. Над ним не было потолка библиотеки. Там, вверху, сквозь разорванный полог листвы, просвечивали две луны. Одна большая, бледно-голубая, вторая — маленькая, кроваво-красная, висевшая у самого горизонта. Его круглые очки валялись в нескольких сантиметрах от лица, одно стекло треснуло. В правой руке он все еще сжимал обломок сломанного пера. Острый конец больно впивался в ладонь.

Он был не в библиотеке. Он был не в своем мире. И он был абсолютно, беспомощно один.

Эрдас.

Сознание возвращалось не рывком, а медленным, мучительным наплывом, как вода, просачивающаяся сквозь трещину в плотине. Первым ощущением была не боль — та пришла позже, — а запах. Земля. Сырая, живая, пахнущая прелыми листьями, грибницей и чем-то сладковато-гниющим в глубине лесной подстилки. Хейзен лежал щекой на чем-то холодном и влажном, и каждая клетка его тела вопила о том, что это неправильно. Не может быть пола, который пахнет лесом. Не может быть земли там, где должен быть библиотечный паркет.

Он открыл глаза. Ресницы слиплись от влаги, и мир ворвался в его сознание размытым пятном зелени, коричневого и серого. Он моргнул раз, другой, пытаясь сфокусироваться, и только тогда до него дошло — он видит. Видит без очков. Это было настолько неправильно, настолько противоестественно, что на мгновение перекрыло даже страх. Двадцать лет жизни в мире, где без круглых стекол все превращалось в акварельную абстракцию, и вдруг — каждая травинка, каждый моховой нарост на ближайшем стволе проступили с хирургической четкостью. Он медленно повернул голову, и в двух шагах от себя увидел свои очки. Они лежали на боку, одно стекло треснуло наискось, дужка выгнулась под неестественным углом. Бесполезные. Ненужные.

Боль пришла, когда он попытался приподняться. Левая нога отозвалась глухой, пульсирующей вспышкой, которая ударила от щиколотки до самого паха, и Хейзен сдавленно зашипел, рухнув обратно на траву. Он скосил глаза вниз. Нога лежала под неестественным углом, стопа была вывернута наружу, и даже сквозь джинсы было видно, как бесформенно распухла лодыжка. Вывих. Или перелом. Он не знал, да и какая разница? Он понятия не имел, где находится.

Жуть пришла не сразу. Сначала было недоумение, смешанное с физической болью. Но когда он поднял голову и огляделся, когда увидел стволы деревьев, уходящие вверх, в серое, пробитое редкими лучами небо, когда услышал далекий, ровный гул — водопад, понял он, где-то неподалеку шумит вода, — тогда его накрыло. Холодная, липкая волна ужаса поднялась от позвоночника к затылку. Он не знал этого леса. Не знал этих деревьев — слишком высоких, с корой неестественного серебристого оттенка. Не знал этого воздуха — слишком плотного, пахнущего чем-то чужим, незнакомым. Его вырвало из его мира, из библиотеки, из его унылой, предсказуемой жизни, и бросило сюда, как выброшенную на берег рыбу. Он хотел закричать, но в горле застрял только сухой, беззвучный всхлип.

Топот копыт он услышал за мгновение до того, как земля под его щекой начала мелко вибрировать. Сначала Хейзен подумал, что это гул водопада усилился, но нет — звук нарастал, становился отчетливее, ритмичнее. Много копыт. Несколько всадников. Они двигались быстро, и деревья, казалось, расступались перед ними, пропуская тяжелую, мощную поступь. Хейзен попытался подняться, опираясь на локти, но нога взорвалась такой болью, что перед глазами вспыхнули белые круги, и он снова рухнул, только сильнее вдавив щеку в мокрую траву.

Из-за стволов вылетел конь. Не выехал — вылетел, как воплощение бури, как материализовавшийся из лесного полумрака кусок стихии. Это был огромный жеребец вороной масти, с лоснящейся, переливающейся черным шелком шкурой, с широкой грудью и мускулистыми ногами, которые без усилий перемахивали через валежник. Грива, непричесанная и дикая, развевалась на скаку, и в ней запутались сухие листья.

Конь затормозил так резко, что копыта взрыли землю, выбросив в стороны комья дерна и мелких камней. Один из них больно щелкнул Хейзена по голени, но он даже не вздрогнул. Он смотрел на всадника.

Мужчина на коне был огромен. Это слово — огромен — не передавало и половины. Он возвышался на коне, как башня, и плечи его, закованные в металл, казались шире любого дверного проема, который Хейзен когда-либо видел. Доспех был не парадным, не блестящим — потертая сталь, покрытая сеткой мелких царапин и вмятин, хранила следы множества боев. Наплечники, тяжелые и угловатые, переходили в наручи, охватывающие руки, которые, даже в покое, казалось, готовы были разорвать любую хватку. Шлема не было — он, видимо, висел у седла, — и Хейзен увидел лицо.

Прическа запомнилась первой. Волосы, темные с густым каштановым отливом, достигали середины шеи и падали тугими, раздельными завитками, которые не спутывались, а ложились друг на друга объемной, тяжелой волной. Они были зачесаны назад и слегка в стороны, открывая широкий лоб и высокие скулы, и только одна прядь, ослушавшись общего порядка, спадала на лоб — небрежно, словно мужчина давно махнул на неё рукой. У левого виска, среди темной гущи волос, ярко выделялась седая прядь — широкая, белая, как иней на старой коре. Но лицо… лицо пересекал шрам. Он начинался у правой брови, рассекая её надвое, тянулся через переносицу, огибал скулу и терялся где-то в жесткой щетине на челюсти. Это был не свежий рубец — старая, зажившая, но навсегда изменившая черты рана, которая делала каждое выражение лица одновременно и пугающим, и болезненно человеческим. Глаза — темные, почти черные — смотрели на Хейзена с высоты, и в них не было ни капли удивления. Только холодная, выверенная настороженность человека, который привык оценивать угрозу за долю секунды.

— Кто ты? — голос мужчины оказался именно таким, каким и должен был быть у этого тела и этого лица. Низкий, раскатистый, он, казалось, исходил не из горла, а из самой груди, обитой сталью. В этом голосе не было крика, но он перекрыл и шум водопада, и шелест листьев, и собственное паническое дыхание Хейзена.

Хейзен открыл рот. Губы пересохли, язык прилип к нёбу. Он сглотнул, чувствуя, как кадык болезненно дергается.

— Хейзен… — прошептал он, и собственный голос показался ему писком мыши под ногами этого великана. — Хейзен Торн.

Мужчина на коне не шелохнулся. Только конь под ним переступил с ноги на ногу, звякнув уздечкой. Темные глаза сузились. Шрам на лице дрогнул — возможно, это было подобием усмешки.

— Никогда не слышал о Торнах, — сказал мужчина, и в его голосе появилась новая нота. Не любопытство — скорее, опасное веселье хищника, который еще не решил, играть с добычей или убивать сразу. — Кто ты? Мятежник?

Слово «мятежник» повисло в воздухе, тяжелое, как удар плетью. Хейзен почувствовал, как его пробивает мелкая дрожь — не от холода, от того, что этот взгляд, этот голос, эта сталь давили на него, стирали в порошок. Он попытался приподняться на локтях, чтобы говорить на более равных, но нога дернулась, и он лишь сильнее вжался в землю, оставляя в грязи отпечаток своей щеки.

— Я вообще не понимаю, где я! — выпалил он, и в его голосе, помимо страха, прорвалось что-то еще — отчаяние, смешанное с искренним, животным недоумением. — Я не знаю, как сюда попал, я…

— Не лги мне, — перебил мужчина. Голос не повысился, но в нем появилась сталь, острая и холодная, как лезвие. Рука, лежащая на луке седла, медленно сжалась в кулак, и кожаная перчатка скрипнула.

Хейзен замотал головой, чувствуя, как мокрая трава хлещет его по щекам.

— Лгать тебе себе дороже, — выпалил он, и слова понеслись вперед, спотыкаясь и наезжая друг на друга. — Ты сильнее. Мне как-то пока умирать не хочется. Я правда не знаю, где я! Я был в библиотеке, я нашел книгу, я…

Он запнулся. Сказать, что его засосало в книгу? Что он упал сквозь страницы и очнулся в лесу с вывихнутой ногой? Это звучало безумием даже в его собственной голове. Он замолчал, глядя снизу вверх на темные глаза, на шрам, на седую прядь, свисающую на лоб.

Мужчина смотрел на него долго. Так долго, что Хейзен начал считать удары собственного сердца — глухие, отдающиеся в висках. Потом всадник, не отводя взгляда, чуть повернул голову в сторону. Жест был минимальным — едва заметный наклон подбородка, — но его поняли мгновенно.

— Схватить его, — бросил мужчина, и этот приказ прозвучал так же обыденно, как если бы он попросил подать ему воды.

Из-за спин деревьев выехали еще трое всадников. Хейзен даже не слышал, как они подошли — его слух был прикован к вороному коню и его седоку. Они спешились, и Хейзен увидел, что это не просто солдаты — доспехи на них были хоть и не такими тяжелыми, как у командира, но такими же потертыми, такими же настоящими. Один из них, с рыжей бородой, навис над Хейзеном, и тот невольно вжался в землю.

— Не двигайся, — буркнул солдат, хватая его за плечо. Пальцы, даже через ткань свитера, казались раскаленными клещами.

— Подождите! — Хейзен дернулся, и левая нога отозвалась такой болью, что он закричал — коротко, сдавленно, больше похоже на выдох, чем на крик. — Что вы делаете? Я ничего не сделал!

Его перевернули на живот, и трава вдавилась в губы, в нос, заполнила рот земляным вкусом. Чьи-то грубые руки заломили его руки за спину, и он почувствовал, как что-то жесткое, веревка или сыромятный ремень, впивается в запястья, перетягивая их так туго, что пальцы мгновенно онемели. Хейзен дернулся, пытаясь вырваться, но один из солдат просто положил ладонь ему на затылок и прижал лицом в землю. Сила была чудовищной — он не мог даже шевельнуться.

— Что бы вы ни подумали, это неправда! — крикнул Хейзен в траву, голос сорвался на фальцет. — Я не мятежник, я вообще не знаю, кто это такие!

Его подхватили под мышки, рывком поставили на колени, и нога снова взорвалась болью. Хейзен закусил губу до крови, чувствуя, как по подбородку течет что-то теплое. Сквозь пелену слез, выступивших от боли, он увидел, как мужчина на вороном коне слегка наклонился в седле, рассматривая его с высоты, как какую-то диковинную букашку.

— Заткнешься ты, Торн? — спросил он, и в его голосе, наконец, появилась эмоция. Раздражение. Чистое, незамутненное раздражение человека, который привык, чтобы его приказы исполнялись с первого слова.

Но Хейзена уже понесло. Боль, страх, отчаяние — все смешалось в один вязкий ком, который рвался наружу потоком слов. Его тащили к телеге — он увидел её, грубо сколоченную, с высокими бортами, стоящую на лесной дороге, куда его волокли, — и он не замолкал ни на секунду.

— Скажи хотя бы, где я! — выкрикнул он, когда его перекинули через борт, и его связанные руки больно ударились о деревянные доски. Он рухнул на дно телеги лицом вниз, в какую-то солому, пахнущую лошадиным потом и плесенью.

Скрипнула кожа седла — командир спешился. Хейзен услышал тяжелые шаги, звон металла, а потом борт телеги прогнулся под чьим-то весом. Мужчина склонился над ним, и его лицо оказалось так близко, что Хейзен разглядел каждую морщинку вокруг глаз, каждый миллиметр старого шрама, который стягивал кожу при любом движении.

— Сколько с тобой хлопот, — произнес он, и это прозвучало не как злость. Скорее как констатация факта, произнесенная с усталостью человека, который видел слишком много идиотов, чтобы удивляться очередному. — Ты на земле Эрдаса.

Хейзен замер. Эрдас. Название ничего ему не говорило. Оно не значилось ни на одной карте, которую он когда-либо видел. Оно не встречалось ни в одной книге, которую он читал. Оно было пустым, чужим, не имеющим никаких ассоциаций. И именно эта пустота ударила сильнее, чем боль в ноге, сильнее, чем веревки на запястьях.

— Эрдас? — повторил он, и голос его сел до шепота. — Господи… я умер, что ли?

Он смотрел на мужчину снизу вверх, и в его глазах, должно быть, было столько неподдельного, детского ужаса, что даже солдаты за его спиной перестали переговариваться.

Мужчина с седой прядью у виска смотрел на него несколько долгих секунд. Темные глаза изучали его лицо, его одежду — странный свитер, джинсы, кроссовки, один из которых слетел при падении, — и что-то в его взгляде неуловимо изменилось. Настороженность не исчезла, но к ней примешалось что-то еще. Может быть, тень сомнения.

— Пока нет, — сказал он наконец, и это прозвучало не как угроза, а как медицинский диагноз.

Он выпрямился во весь свой огромный рост, и телега жалобно скрипнула, когда его вес покинул борт.

— Выезжаем, — бросил он через плечо, и его голос снова стал командным, не терпящим возражений.

Телега дернулась, и Хейзен, не имея возможности опереться на связанные руки, перекатился к противоположному борту, больно ударившись плечом. Колеса заскрипели по лесной земле, и движение началось — медленное, ухабистое, каждый толчок отдавался пульсирующей волной в вывихнутой ноге.

Но Хейзен не замолчал.

— Куда вы меня везете? — крикнул он, пытаясь повернуть голову, чтобы увидеть хоть что-то за бортом.

Молчание. Только скрип колес и тяжелое дыхание лошадей.

— У меня нет документов! — снова закричал Хейзен, и в его голосе зазвенели истеричные нотки. — Я не могу доказать, кто я! У меня даже денег нет!

— Я сказал, заткнись, — донеслось откуда-то слева, но голос командира звучал уже не так грозно — скорее, с нарастающим раздражением человека, который пытается игнорировать назойливую муху.

— А если я мятежник? — не унимался Хейзен. Телегу тряхнуло на корневище, и он стукнулся подбородком о дно. — Что вы со мной сделаете? У вас есть суд? Вы меня повесите? Я имею право знать!

— Ты говоришь слишком много, — раздалось с другой стороны, и Хейзен увидел, как рыжебородый солдат едущий рядом с телегой, косится на него с любопытством, в котором страха не было — скорее, недоумение.

— Я говорю столько, сколько считаю нужным! — выкрикнул Хейзен, и эта дерзость, прозвучавшая в его голосе, явно была порождена не храбростью, а паникой, которая искала любой выход. — Вы не имеете права просто так хватать людей в лесу и…

— Торн, — голос командира прозвучал совсем близко, и Хейзен, дернув головой, увидел, что вороной конь идет вровень с телегой. Мужчина смотрел прямо на него, и на его лице, наконец, проявилось нечто, похожее на эмоцию. Шрам изогнулся, глаз дернулся — нет, не дернулся, задрожал мелкой, едва заметной пульсацией. Веко конвульсивно сокращалось в такт каким-то внутренним раздражениям, и это был единственный признак того, что бесконечная болтовня пленника достигла цели. — Если ты не замолчишь прямо сейчас, я прикажу привязать тебя к задней оси. Вниз головой. На весь путь до крепости. А это, — он сделал паузу, и его голос стал мягче, отчего сделался в сто раз опаснее, — четыре часа езды.

Хейзен открыл рот, собираясь ответить, но увидел этот дергающийся глаз, эту бешеную пульсацию под тонкой кожей у виска, и слова застряли в горле. Он захлопнул рот. Звук, с которым зубы щелкнули, показался ему оглушительным.

Тишина опустилась на телегу, и в этой тишине Хейзен наконец услышал, как сильно стучит его сердце. Телега тряслась на ухабах, вывихнутая нога пульсировала тупой, изматывающей болью, веревки на запястьях впивались в кожу, и где-то там, позади, осталась его жизнь — библиотека, учебники, пустая квартира, равнодушные родители, прозвище «Гарри Поттер». Все это было где-то далеко, в мире, который, возможно, больше никогда его не примет.

А здесь, в мире Эрдаса, под скрип колес и тяжелое дыхание лошадей, его везли в неизвестность, связанного, как вора, с вывихнутой ногой и сломанными очками в кармане.

И он, заткнувшись впервые за последние полчаса, смотрел в небо между ветвями деревьев, где одна луна уже скрылась за горизонтом, а вторая, бледно-голубая, висела прямо над ним, чужая и равнодушная, как этот мир, в который его выбросило сломанным пером из старой книги.

Подземная темница встретила Хейзена сыростью, которая пробирала до костей быстрее любого ветра. Здесь не было окон — только стены из грубого, неотесанного камня, покрытые зеленоватым налетом плесени, и редкие факелы в железных держателях, чей свет не столько разгонял тьму, сколько делал её более осязаемой, заставляя тени

плясать по сводчатому потолку. Капало где-то в глубине — мерно, неумолимо, и этот звук въедался в сознание, обещая сводить с ума очень скоро.

Его ввели под руки — вернее, вволокли, потому что на вывихнутую ногу он не мог ступить и повисал на солдатах, как тряпичная кукла. Они не церемонились. Бросили на сырой пол у дальней стены, и Хейзен, не имея возможности выставить руки — они всё еще были связаны за спиной, — рухнул плечом на камень, выдохнув от боли коротко и сдавленно. Железная дверь лязгнула, засовы проскрежетали, и шаги утихли в коридоре, оставив его одного с капающей водой и собственным дыханием.

Он лежал так несколько минут, может быть, час — время здесь текло иначе, густо и медленно, как смола. Потом послышались шаги. Тяжелые, уверенные, звенящие металлом. Хейзен приподнял голову, насколько позволяли связанные руки, и увидел за прутьями решетки своего недавнего пленителя. Мужчина с седой прядью стоял, скрестив руки на груди, и свет факелов выхватывал из полумрака его широкие плечи, тяжелый подбородок, шрам, пересекающий лицо. Он смотрел на Хейзена сверху вниз, и в его взгляде читалась усталая решимость человека, который собирается заниматься неизбежной, но неприятной обязанностью.

Хейзен, глядя на него снизу вверх, с мокрым от пота лицом и слипшимися кудрями, выдавил из себя первое, что пришло в голову:

— У меня будет адвокат?

Тишина. Мужчина медленно поднял бровь — ту, что над рассеченной частью лица, отчего шрам изогнулся еще причудливее. Он явно не понял ни слова.

— Адвокат, — повторил Хейзен, чувствуя, как абсурдность ситуации накрывает его новой волной. — Ну, защитник. Человек, который… знает законы. Который скажет, что меня нельзя просто так держать в подвале без предъявления обвинений.

Мужчина молчал несколько долгих секунд. Потом его губы — тонкие, сжатые в жесткую линию — чуть дрогнули. Возможно, это была тень усмешки, а возможно — нервный тик.

— Здесь нет адвокатов, — сказал он наконец, и голос его прозвучал в тесном пространстве темницы с неожиданной глубиной. — Есть я. И есть вопросы, на которые ты ответишь.

Он сделал шаг вперед, и решетка дрогнула — он оперся на неё обеими руками, и железо жалобно скрипнуло под весом его тела. Его лицо оказалось совсем близко к прутьям, и Хейзен увидел каждую морщину, каждый миллиметр старого шрама, каждую прожилку в темных, почти черных глазах.

— Итак, — произнес мужчина, и в его голосе зазвучала сталь. — Объясни. Кто ты и откуда. Ты утверждаешь, что не знаешь, где оказался. Но, может быть, ты просто хороший лжец. Может быть, ты темный маг, которого я должен был убить на месте?

Хейзен дернулся, и нога отозвалась острой вспышкой боли. Темный маг. Слова прозвучали так, словно выпали из какой-то дешевой фэнтези-саги, которую он пролистывал в библиотеке, скучая на лекциях. Но в устах этого человека, в этом подземелье, с этим запахом сырости и железа, слова обрели вес. Они стали настоящими.

— Темный маг?.. — переспросил Хейзен, и его голос сел до шепота. Он сглотнул, чувствуя, как пересохшее горло сводит судорогой. — Э… Ладно. Я все расскажу.

Он замолчал на мгновение, собираясь с мыслями. С чего начать? Как объяснить человеку в доспехах, который никогда не слышал о Торнах, что такое библиотека, университет, книга с размытыми страницами?

— Меня зовут Хейзен Торн, — начал он медленно, подбирая слова. — Мне двадцать лет. Я… я учусь. В университете. Это такое место, где… ну, где люди узнают новое. Читают книги. Изучают…

— Я знаю, что такое университет, — перебил мужчина, и в его голосе промелькнуло что-то похожее на нетерпение. — В Эрдасе тоже есть Академия. Продолжай.

Хейзен моргнул. В Эрдасе есть Академия. Значит, здесь тоже учат. Это почему-то успокоило его — чуть-чуть, на самую малость.

— Я был в библиотеке, — продолжил он, и слова потекли быстрее, как будто он боялся, что его перебьют снова. — Это такое место, где хранятся книги. Много книг. Я нашел

одну… странную. Старую. В ней были размытые страницы, карта, рисунки драконов. И перо. Старое перо. Я случайно его сломал, и…

Он запнулся. Это звучало безумно. Это звучало безумно даже для него самого, а он это пережил.

— И книга засосала меня, — выдохнул он. — Я провалился внутрь. Сквозь страницы. А очнулся в лесу. С вывихнутой ногой. И без очков, что вообще… — он мотнул головой, отбрасывая эту мысль. — В моем мире нет темных магов. Нет людей с мечами. Нет… этого всего, — он обвел взглядом камеру, решетку, факелы. — У нас есть машины, электричество, интернет. Мы летаем на самолетах. Мы… мы даже не верим в магию. Считаем её сказками.

Он замолчал, чувствуя, как его голос начинает дрожать. Он смотрел снизу вверх на темные глаза за решеткой и ждал приговора.

Мужчина молчал. Долго. Так долго, что капающая вода успела отсчитать десять, двадцать, тридцать капель. Его лицо было непроницаемым — шрам застыл, глаза сузились, челюсть сжалась. Он изучал Хейзена — его одежду, его лицо, его руки, все еще связанные за спиной, его неестественно вывернутую ногу. И что-то в этом взгляде изменилось. Настороженность не исчезла, но к ней примешалось сомнение. Чистое, человеческое сомнение.

— Если это и правда, — сказал он наконец, и голос его прозвучал тише, чем прежде, — то король должен решить, что с тобой делать.

Хейзен уставился на него. Король. Слово прозвучало так, словно кто-то с размаху ударил его по лицу.

— Тут и король есть? — вырвалось у него прежде, чем он успел подумать. Голос его сорвался на фальцет, и он услышал в собственном голосе истеричные нотки, которые не мог сдержать. — В какой фэнтези-книге я застрял?

Мужчина за решеткой медленно выдохнул. Его пальцы, сжимающие прутья, побелели.

— Ты жутко действуешь мне на нервы, — произнес он, и в его голосе не было злости. Только абсолютная, космическая усталость человека, который пытается допросить пленного, а вместо этого слушает поток сознания, лишенный всякого смысла.

Хейзен посмотрел на него снизу вверх, и в его взгляде, помимо страха, появилось что-то новое. Упрямство.

— Терпи, — сказал он, и это прозвучало почти дерзко. — Раз кроме тебя тут никого. Я в шоке. Солдаты, рыцари, маги, — он перечислял, загибая пальцы, но руки были связаны, и получилось нелепое подергивание. — Я походу умер. Это единственное логичное объяснение. Я умер в библиотеке, и теперь я в… ну, не знаю. В каком-то странном загробном мире, где есть короли и темные маги.

Мужчина смотрел на него. Его глаз — тот, над которым не было шрама — дернулся. Потом второй. Пульсация под седой прядью стала заметнее.

— К сожалению, не умер, — сказал он, и в его голосе прозвучала такая неподдельная, искренняя досада, что Хейзен на секунду растерялся.

— Ты жесток, — выдохнул Хейзен, и в его голосе не было обиды — только констатация факта.

Мужчина молчал, и тишина повисла между ними, тяжелая, как каменные своды над головой. Хейзен смотрел на него, и вдруг понял, что не знает самого главного. Он не знает имени человека, который его схватил, допрашивает и, возможно, отдаст королю на расправу.

— А как тебя зовут? — спросил Хейзен, и его голос прозвучал неожиданно тихо, почти робко. — Скажи просто имя.

Мужчина за решеткой замер. Его лицо, и без того жесткое, словно высеченное из камня, превратилось в маску. Он явно не привык, чтобы пленные спрашивали его имя. Он явно не привык к такому — не к страху, не к мольбам, а к этой странной, почти бытовой вежливости среди сырости и железа.

— Кайнан, — сказал он наконец, и имя прозвучало резко, словно он выплюнул его. — Кайнан Рив. Командир северной стражи.

— Кайнан, — повторил Хейзен, пробуя имя на вкус. Оно было коротким, твердым, подходило ему. — Спасибо, Кайнан.

Кайнан — Рив, командир северной стражи — издал звук, похожий на рык, но сделал шаг назад. Он отошел от решетки, и Хейзен услышал, как звякнул металл — он снял с пояса флягу. Вернулся, просунул руку между прутьев и бросил флягу на пол камеры. Та глухо стукнулась о камень и покатилась, остановившись у самого бедра Хейзена.

— Пей, — коротко бросил Кайнан.

Хейзен дернул связанными руками, показывая, что не может взять флягу. Кайнан выдохнул — долго, сквозь зубы — и отпер дверь. Заскрежетал засов, железо взвизгнуло, и он вошел в камеру, заполнив её собой, плечами, сталью, запахом пота и лошади. Он наклонился, и Хейзен инстинктивно вжался в стену, но Кайнан просто поднял флягу, открутил крышку одним движением больших пальцев и поднес к его губам.

— Пей, — повторил он.

Хейзен пил. Вода была холодной, чистой, с легким привкусом металла — наверное, от фляги. Он пил жадно, проливая на свитер, на подбородок, на каменный пол, и не мог остановиться. Кайнан не торопил, держал флягу ровно, и в этом жесте не было нежности, но была странная, почти механическая забота. Когда Хейзен наконец оторвался, кашляя и давясь, Кайнан убрал флягу, закрутил крышку и повесил обратно на пояс.

Хейзен откинулся головой на холодную стену и посмотрел на противоположную стену камеры. Он видел каждый камень, каждую трещину, каждую неровность. Он видел факел в держателе, языки пламени, которые дрожали и извивались, и даже капли влаги, которые медленно сползали по стене. Все четко. Все резко. Без очков.

— Я не могу привыкнуть, — сказал он, и голос его после воды звучал чище. — Я двадцать лет носил очки. А теперь вижу всё. Это… неправильно.

Кайнан ничего не сказал. Он стоял над ним, скрестив руки, и смотрел сверху вниз, и в его взгляде мелькнуло что-то — возможно, понимание. А может быть, ему просто было плевать.

А потом тишину подземелья разорвал смех.

Он пришел из глубины коридора, из темноты, которую факелы не могли разогнать. Это был не обычный смех — он был слишком громким, слишком звонким, слишком свободным для этого места, пропитанного сыростью и страхом. Он отражался от каменных стен, множился, накладывался сам на себя, превращаясь в какофонию, от которой волосы на затылке встали дыбом.

Хейзен дернулся, прижался спиной к стене, и вывихнутая нога отозвалась такой болью, что перед глазами вспыхнули белые круги. Сердце заколотилось где-то в горле, дыхание перехватило. Он смотрел в темноту коридора, откуда доносился смех, и не мог пошевелиться. Кто-то был там. Кто-то, кто смеялся в подземелье, где, казалось бы, смеяться нечему.

Кайнан не вздрогнул. Он даже не повернул головы. Он просто закрыл глаза — всего на секунду — и выдохнул так, как выдыхают люди, которые стоят на пороге чего-то неизбежного и утомительного.

— Как ты, черт возьми, тут оказался? — спросил он, и в его голосе не было удивления. Была усталость. Было раздражение. Было что-то, похожее на обреченность.

Смех стих так же внезапно, как и начался. В коридоре стало тихо — только капала вода, только потрескивали факелы. А потом из тени шагнула фигура.

Хейзен не сразу понял, что видит. Сначала ему показалось, что это просто сгусток тьмы, отделившийся от стены, но тьма обрела форму, вытянулась, стала выше, чем любой человек, которого он когда-либо видел. Из сумрака проступили ноги — неестественно длинные, обтянутые черными сапогами до колена, и выше — шаровары, разделенные пополам: одна штанина черная, другая бордовая, свободные, пузырящиеся, словно наполненные воздухом. Выше — узкие бедра, перетянутые широким кожаным ремнем с крупной круглой пряжкой, от которого вниз спускались длинные бордовые ленты, покачивающиеся при каждом движении. Камзол был приталенный, сшитый из лоскутов черного и бордового, и на груди его пересекала золотистая шнуровка, образующая ромбовидный узор. Плечи закрывали пышные рукава-фонарики бордового цвета с

золотыми вставками, которые резко переходили в узкие черные наручи, плотно обхватывающие предплечья и заканчивающиеся у самых кистей. Воротник — широкий, состоящий из отдельных остроконечных лоскутов черного и бордового, каждый с золотой окантовкой — поднимался почти до ушей, и на конце каждого лоскута висел маленький бубенец, который издавал едва слышный, серебристый звон при каждом, даже самом незначительном движении.

Но самым странным было лицо. Вернее, его отсутствие.

На голове незнакомца сидел двухвостый колпак глубокого бордового цвета, традиционный шутовской колпак, чьи длинные концы свисали по обе стороны от лица, покачиваясь в такт движениям. А под ним — маска. Полная фарфоровая маска, плотно прилегающая к лицу, гладкая и матовая, белая, как свежий снег, или скорее светло-серая, как пепел. Для глаз были сделаны узкие, миндалевидные прорези, и из них смотрели глаза — Хейзен не мог разобрать их цвет в этом полумраке, но они блестели, живые, подвижные, бегающие. Рта не было. Носа не было. Только гладкая белая поверхность, от которой взгляд скользил, не находя точки опоры. Волосы, длинные, прямые, белые как лунь, с единственной черной прядью у лица, падали из-под колпака, прикрывая лоб и верхнюю часть маски. Сзади они опускались ниже плеч, контрастируя с бордовым и черным костюма.

Фигура была огромной. Хейзен, сидя на полу, смотрел на неё снизу вверх, и ему казалось, что этот человек — или существо — уходит вверх, к сводчатому потолку, растворяясь в тенях. Ноги были такими длинными, что, казалось, состоят из одних коленей. Каждое движение было текучим, неестественно плавным, как у марионетки, которую дергают за невидимые нити. Когда он шагнул вперед, его ленты и лоскуты воротника колыхнулись, бубенцы зазвенели, и звон этот разнесся по подземелью, смешиваясь с капающей водой.

Он подошел к клетке Хейзена, и его длинные пальцы — бледные, унизанные кольцами — легли на прутья. Маска склонилась, прорези для глаз уставились прямо на Хейзена, и из-под маски — оттуда, где должен был быть рот, — донесся голос. Высокий, звонкий, с каким-то детским, почти невинным тембром, который совершенно не вязался с ростом, с маской, с этим местом.

— Привет! — сказал он, и в голосе его слышалась улыбка, хотя лица не было видно. — Меня зовут Шут!

Хейзен смотрел на него, открыв рот. Шут. Шут. Слово повисло в воздухе, и Хейзен вдруг понял, что оно подходит этому существу — не как имя, а как приговор.

— Шут? — переспросил он, и голос его прозвучал хрипло. — Звучит оскорбительно!

Шут рассмеялся. Смех его был тем самым — громким, звонким, он вырывался из-под маски, где не было рта, и от этого казалось, что звук исходит отовсюду — от стен, от потолка, от пола. Шут откинул голову назад, и его длинные белые волосы метнулись, колпак качнулся, бубенцы залились трелью. Он крутанулся на месте — один раз, второй, третий, — его шаровары вздулись, ленты взлетели, и Хейзен увидел, как он высок, как его ноги, казалось, не сгибаются в коленях, как он вертится вокруг своей оси, не теряя равновесия, как волчок, как безумная игрушка, заведенная слишком туго.

Шут прыгал вокруг Кайнана, и командир северной стражи стоял неподвижно, как скала, но его челюсть сжалась так, что желваки заходили под кожей. Шут заглядывал ему в лицо, наклоняясь, вытягивая шею, и его маска оказывалась в дюйме от шрама Кайнана, потом отскакивала, и он снова кружился, пританцовывая, постукивая каблуками по каменному полу.

— Прикольно! — пропел Шут, и его голос взлетел на верхних нотах. — Мне нравится новенький!

Он замер напротив клетки Хейзена, и его длинные пальцы снова легли на прутья. Кольца блеснули в свете факелов — золото, серебро, какой-то темный металл, похожий на вороненую сталь. Прорези маски смотрели прямо на Хейзена, и за ними что-то двигалось — живые, слишком живые глаза, которые, казалось, видели больше, чем должны.

— Я не новенький! — выпалил Хейзен, и голос его сорвался. — Я вообще не отсюда!

Шут замер. Это было неожиданно — мгновенная статика после бесконечного движения. Он стоял неподвижно, как изваяние, и только бубенцы на воротнике продолжали тихонько позванивать, остывая после танца.

— О, правда? — спросил он, и в его голосе появилось что-то новое. Любопытство. Чистое, незамутненное любопытство ребенка, который нашел новую игрушку. — Значит, ты из другого мира. Где ты студент?

Хейзен уставился на него. Студент. Шут сказал «студент». Он не сказал «ученик», не сказал «ученый». Он сказал именно «студент» — слово из другого мира, слово, которое Хейзен не произносил здесь, в этой темнице, ни разу.

— Откуда ты знаешь? — вырвалось у Хейзена, и его голос прозвучал резче, чем он хотел. Сердце снова забилось быстрее. Этот человек в маске, этот танцующий, смеющийся, безумный человек знал то, чего не мог знать.

Шут наклонил голову. Движение было плавным, но неестественным — как у птицы, которая разглядывает добычу. Белая прядь волос упала на маску, черная скользнула по гладкой поверхности, и прорези для глаз блеснули в полумраке.

— Угадал, — сказал Шут, и в его голосе снова зазвучала улыбка.

Он выбросил руки вперед, и между его длинных бледных пальцев вдруг оказались карты. Хейзен не понял, откуда они взялись — секунду назад там было пусто, а теперь веер из десятка карт раскрылся, затрепетал, зашуршал, как крылья ночной бабочки. Шут перебирал их, ловко, быстро, пальцы двигались сами по себе, и карты исчезали и появлялись снова, складывались в стопку, рассыпались веером, превращались в колоду, которая плясала между его рук, как живая. Он подбросил их вверх, и карты взлетели к потолку, кружась, падая, и Хейзен завороженно следил за ними, но в последний момент Шут взмахнул рукой, и все карты разом исчезли, растворились в воздухе, не долетев до пола.

Хейзен смотрел на него, и страх, который он чувствовал минуту назад, начал смешиваться с чем-то другим. С недоумением. С изумлением. С каким-то нелепым, неуместным восхищением. Этот человек — Шут — был странным. Он был безумным. Он был пугающим в своей непредсказуемости. Но он был… интересным.

Шут снова крутанулся, его колпак взлетел, бубенцы залились звоном, и он замер, раскинув руки, словно ждал аплодисментов. Его длинные ноги, казалось, уходили в пол, делая его выше, чем он был на самом деле, выше Кайнана, выше любого, кого Хейзен когда-либо видел. В этой позе, в этом подземелье, под светом факелов, он выглядел как фигура из страшной сказки — шут, который пришел не смешить, а запутывать, который говорит загадками и знает ответы прежде, чем вопросы заданы.

— Ты кто? — спросил Хейзен, и голос его прозвучал тихо, почти шепотом.

Шут наклонился. Его маска приблизилась к решетке, и прорези для глаз оказались совсем близко. Хейзен увидел за ними глаза — светлые, почти прозрачные, с зрачками, которые расширялись и сужались, не подчиняясь свету факелов. Они смотрели на него с такой интенсивностью, что захотелось отвести взгляд, но он не мог.

— Я тот, кто задает вопросы, — сказал Шут, и его голос вдруг потерял всю свою звонкость, стал низким, почти серьезным. — И тот, кто получает ответы. Иногда.

Он выпрямился, и его длинная фигура снова взметнулась вверх, к теням на потолке. Он посмотрел на Кайнана, потом снова на Хейзена, потом сделал шаг назад, и его силуэт начал растворяться в темноте коридора. Только бубенцы звенели — тише, тише, пока не стихли совсем.

И остались только капающая вода, тяжелое дыхание Кайнана и Хейзен, сидящий на холодном каменном полу со связанными руками, вывихнутой ногой и чувством, что он только что встретил самого странного человека в своей жизни — или, возможно, в двух мирах сразу.

Хейзен проводил взглядом удаляющуюся фигуру Кайнана — широкую спину в потертом доспехе, тяжелую поступь, которая, казалось, заставляла вибрировать каменные плиты пола. Командир северной стражи уже взялся за железную ручку двери, когда Хейзен, повинуясь какому-то странному, почти детскому импульсу, выпалил:

— Он какой-то магический шут?

Кайнан замер. Не обернулся, но замер — на целую секунду, и в этой секунде было столько красноречивого молчания, что Хейзен почти пожалел о своем вопросе. Почти.

— Нет, — ответил Кайнан, и его голос прозвучал глухо, с привкусом усталости, которая копилась годами. — Обычный идиот.

С этими словами он дернул дверь на себя, и тяжелое железо со скрежетом подалась, открывая проход в коридор, освещенный редкими факелами. Хейзен увидел кусочек

сырой каменной стены, услышал, как где-то вдалеке перекликаются солдаты, и вдруг понял, что оставаться здесь одному в этой сырой, темной камере — последнее, чего ему хочется.

— Эй, ты куда? — крикнул он, и голос его прозвучал тоньше, чем он хотел. В нем слышалась паника — та самая, которую он пытался заглушить болтовней, но которая теперь, когда единственный человек в доспехах уходил, вырвалась наружу.

Кайнан обернулся. В свете факелов его лицо казалось высеченным из старого, потрескавшегося камня — шрам, глубокие морщины, тени под глазами. Он посмотрел на Хейзена сверху вниз, и в этом взгляде не было жестокости, но не было и жалости. Была только констатация факта.

— Ухожу, — сказал он, и в его голосе прозвучала окончательность. — Увидимся завтра. На этот раз — с королем.

Слово «король» упало в тишину подземелья тяжелым камнем, и Хейзен почувствовал, как его желудок сжался в холодный комок. Король. Завтра. Суд. Или что там у них вместо суда. Может быть, плаха. Может быть, темница навсегда. Может быть…

— Ладно, — сказал Хейзен, и голос его прозвучал на удивление ровно, хотя внутри все дрожало. — Но связывать меня не надо. Я все равно не могу выбраться.

Он дернул связанными руками, демонстрируя, что веревки все еще туго стягивают запястья, и кивнул на вывихнутую ногу, которая распухла до размеров небольшого арбуза и неестественно вывернулась в сторону.

Кайнан посмотрел на веревки. Посмотрел на ногу. На лицо Хейзена — бледное, в грязи, с прилипшими ко лбу кудрями. Что-то дрогнуло в его жестком лице — может быть, тень сомнения, может быть, усталость от всего этого дня, от пленного, который говорит слишком много, от шута, который появляется в самый неподходящий момент, от собственной жизни, которая, кажется, состоит из одних только проблем.

Он шагнул обратно в камеру. Хейзен инстинктивно вжался в стену, но Кайнан просто наклонился, и его большие, грубые руки — руки, привыкшие сжимать меч, а не возиться с веревками — взяли его запястья. Одно движение — и Хейзен почувствовал, как веревки ослабли, соскользнули, оставляя на коже красные, воспаленные полосы. Кровь хлынула

обратно в пальцы, и они закололо тысячей иголок. Хейзен зашипел сквозь зубы, растирая запястья, и увидел, как Кайнан, не говоря ни слова, вышел из камеры, закрыл дверь, и засовы снова со скрежетом встали на место.

Его шаги удалялись. Хейзен слышал, как они становятся тише, глуше, пока не растворились в далеком эхе коридоров. А потом наступила тишина.

Он сидел на холодном каменном полу, прислонившись спиной к стене, и смотрел на свои руки. Пальцы были белыми, с глубокими бороздами от веревок, и они дрожали — мелко, противно, не переставая. Он сжал их в кулаки, разжал, снова сжал. Дрожь не проходила. Нога пульсировала тупой, изматывающей болью, которая поднималась от щиколотки к колену, от колена к бедру, и каждый удар сердца отдавался в распухших тканях.

Хейзен осторожно, стараясь не дышать слишком глубоко, чтобы не спровоцировать новую вспышку боли, подтянул колено к груди и начал растирать ногу выше вывиха. Ладонь скользила по джинсе, нагревая застывшую ткань, и это простое, механическое движение — вверх-вниз, вверх-вниз — помогало. Не от боли — от паники. Он мог сосредоточиться на чем-то конкретном, на тактильном ощущении, на ритме, и это не давало мыслям разбегаться в разные стороны, как испуганным мышам.

Джинса была мокрой — трава в лесу, куда он упал, была покрыта росой или, может быть, просочилась вода из-под земли. Кроссовок на левой ноге не было — он слетел, когда его тащили, или еще раньше, когда он падал сквозь страницы книги. Нога в носке, который промок насквозь, и носок этот — единственное, что отделяет распухшую лодыжку от холодного воздуха. Хейзен подумал, что хорошо бы его снять, но даже мысль о том, чтобы прикоснуться к вывихнутой ноге, вызывала тошноту. Он оставил как есть.

Он сидел, растирал ногу выше колена, смотрел на факел напротив, который медленно догорал, и думал. Думал о том, что его, наверное, ищут. Или нет. Кому его искать? Родители? Они заметят его отсутствие через неделю, может быть, через две, когда закончится еда в холодильнике или когда придет письмо из университета о пропусках занятий. Соседи по общаге? У него не было соседей — он жил один в маленькой комнате, которую снимал за деньги, полученные от стипендии и редких подработок. Никто не хлопнет дверью, не спросит, где он был, не заметит, что его стул пустует в библиотеке.

Он всегда был невидимкой. Даже в своем мире. И теперь, когда его выбросило в другой мир, связанного, раненого, плененного, он чувствовал странное, неправильное облегчение. Здесь его хотя бы заметили. Даже если заметили, чтобы бросить в темницу.

Он усмехнулся этой мысли, и усмешка вышла кривой, нервной, больше похожей на гримасу боли.

А потом перед решеткой, прямо перед его лицом, возникли две длинные ноги в черных сапогах. Вверх ногами.

Хейзен дернулся так резко, что вывихнутая нога ударилась о стену, и боль взорвалась белым, ослепительным фейерверком. Он зашипел, схватился за лодыжку, и сквозь пелену слез, выступивших от боли, увидел, что над ним, вниз головой, висит Шут. Его белые волосы свисали до самого пола, колпак съехал набок, и бубенцы на его остроконечных концах тихонько позванивали, раскачиваясь в такт дыханию. Фарфоровая маска смотрела прямо на Хейзена — прорези для глаз, за которыми что-то блестело и двигалось, гладкая поверхность там, где должны быть нос и рот, и эта неподвижность среди свисающих волос и раскачивающихся бубенцов делала его похожим на огромного, безумного паука, который спустился на невидимой паутине.

— Напугал! — выдохнул Хейзен, и голос его сорвался на фальцет. Сердце колотилось где-то в горле, и он чувствовал, как кровь стучит в висках.

Шут не пошевелился. Он висел вниз головой, держась длинными ногами за что-то под потолком — Хейзен не мог разобрать, за что именно, потому что боялся отвести взгляд от маски. Бубенцы звенели — тихо, почти музыкально, и этот звон смешивался с капающей водой, создавая странную, неземную мелодию.

— Прошу извинить, — сказал Шут, и его голос, несмотря на неудобную позу, звучал ровно и чисто, без малейшего напряжения. — Но мое любопытство меня убивает.

С этими словами он начал опускаться. Это было плавно — неестественно, неправдоподобно плавно. Его ноги медленно отрывались от потолка, тело выпрямлялось, и он опускался вниз, как перышко, как травинка в стоячей воде, как если бы законы тяготения для него были лишь вежливой рекомендацией, а не жестким приказом. Его длинные руки, унизанные кольцами, плавно опустились по швам, ленты на поясе колыхнулись, и он приземлился на каменный пол совершенно бесшумно, словно его сапоги были подбиты мхом. Бубенцы замерли, и тишина, наступившая после их звона, показалась Хейзену почти оглушительной.

Шут стоял перед решеткой, сложив руки на груди, и смотрел на Хейзена сквозь прорези маски. В этом взгляде было что-то... странное. Не угрожающее, нет. Скорее — жадное.

Как у коллекционера, который нашел новый экземпляр и не может дождаться, когда сможет рассмотреть его поближе.

Хейзен сглотнул. Горло пересохло, хотя вода из фляги Кайнана еще не успела забыться.

— Что тебе интересно? — спросил он, и в его голосе прозвучала осторожность, смешанная с неизбежной долей раздражения. Он только что начал успокаиваться, и вот снова — этот, в маске, с его танцами, картами, смехом.

Шут наклонил голову. Движение было медленным, нарочито обдуманным, и белая прядь волос скользнула по маске, обнажая черную.

— Мне много что интересно, — сказал он, и в его голосе зазвучала та самая детская, почти невинная интонация, которая совершенно не вязалась с его ростом, с его маской, с этим местом. — Сегодня хорошая погода. Хочешь, погадаю тебе?

Хейзен уставился на него. Погода. В подземелье. Где нет окон. Где единственный источник света — догорающий факел. Где воздух пахнет сыростью, плесенью и собственной беспомощностью. Шут говорил о погоде так, будто они сидели в уютной кофейне, а не в темнице, где пленников готовят к допросу у короля.

— Ты типа будущее видишь? — спросил Хейзен, и в его голосе прозвучал скептицизм, который был его последним оплотом нормальности в этом безумном мире.

Шут рассмеялся — тихо, звонко, и бубенцы на его воротнике отозвались серебристым эхом. Он вытянул руку, и между его длинных пальцев, словно из ниоткуда, появилась колода карт. Не тех, к которым привык Хейзен — не пики, черви, трефы. Карты были длиннее, уже, с какими-то странными символами на рубашке — змеи, свернувшиеся в кольца, звезды с непривычным количеством лучей, иероглифы, которые Хейзен не мог разобрать.

— Нет, — сказал Шут, перебирая карты с ловкостью, которая казалась сверхъестественной. — Будущее я не вижу. Оно слишком... изменчиво. Как вода в реке — сегодня здесь, завтра там, послезавтра и вовсе разольется в другую сторону. — Он остановил карты, и верхняя легла на его раскрытую ладонь, но он не перевернул её. — Но я знаю кое-что другое.

Он сделал шаг вперед, и его длинная фигура нависла над решеткой, заслоняя свет факела. Хейзен увидел свое отражение в гладкой поверхности маски — искаженное, маленькое, испуганное.

— Я знаю, что ты Хейзен Торн, — сказал Шут, и голос его стал тише, почти шепотом, как будто он делился секретом. — Из другого мира. Я знаю, как ты сюда попал. И знаю, что уйти ты не сможешь.

Слова упали в тишину, и каждый из них был тяжелым, как камень. Хейзен почувствовал, как его ладони, лежащие на коленях, снова начинают дрожать. Он сжал их в кулаки, впиваясь ногтями в кожу, и заставил себя смотреть прямо в прорези маски, за которыми что-то двигалось, блестело, жило своей странной жизнью.

— Откуда знаешь? — спросил он, и голос его прозвучал хрипло, как будто он не пил воду уже несколько дней, хотя прошло всего несколько часов.

Шут не ответил. Вместо этого он подбросил карты вверх, и те взлетели, закружились в воздухе, как стая белых птиц, но не упали, а замерли — десятки карт, парящих в воздухе между ним и решеткой, образующих причудливые узоры, кружащихся в медленном, гипнотическом танце. Шут поднял руки, и карты послушно потянулись за его движениями, как листья на ветру. Он кружился, и его колпак развевался, бубенцы звенели, ленты хлестали по воздуху, и карты следовали за ним, шелестя, как крылья гигантских бабочек.

— Карты говорят мне, — пропел он, и голос его то взлетал вверх, то опускался в низкий, почти басовитый регистр. — Шепчут на ухо. Рассказывают истории, которые никто другой не слышит.

Он замер, и карты замерли вместе с ним, выстроившись в ровный ряд перед его грудью. Он протянул руку, коснулся одной из них, и та перевернулась, показывая изображение — Хейзен не успел разглядеть, что именно, потому что Шут уже убрал её, и все карты разом исчезли, растворились в воздухе, как дым.

— И сейчас они говорят мне, что ты... — Шут сделал паузу, и его маска склонилась, словно он прислушивался к чему-то, что слышал только он. Потом его голос дрогнул,

изменился, стал выше, удивленнее. — Ухты. Они говорят, что ты будешь хорошей фигурой.

Хейзен уставился на него. Хорошей фигурой. Слова прозвучали странно — не так, как он ожидал. Не «ты умрешь», не «ты будешь изгнан», не «ты сгниешь в темнице». Хорошей фигурой.

— Хорошей фигурой? — переспросил он, и в его голосе прозвучало недоумение, смешанное с недоверием.

Шут издал звук, похожий на хихиканье, но приглушенный маской, отчего он стал похож на шелест сухих листьев.

— Ага, — сказал он, и его голос снова стал звонким, почти веселым. — Я не про талию. Вдруг ты так подумал. Но надеюсь, не подумал.

Он наклонился, и его лицо в маске оказалось совсем близко к решетке. Хейзен увидел себя в отражении — бледное лицо, растрепанные кудри, тревожные глаза. Шут перевел взгляд на его ногу, которая распухла еще больше, чем когда он вошел, и теперь синевато-багровый отек поднимался выше щиколотки, угрожая перекинуться на голень.

— О, у тебя болит нога? — сказал Шут, и в его голосе прозвучало искреннее, почти детское сочувствие. — Паршиво.

Хейзен посмотрел на свою ногу. Она действительно выглядела паршиво. Но он не хотел сейчас говорить о ноге. Он хотел понять этого человека — или не человека, — который висел вниз головой, говорил с картами, знал о нем вещи, которые не мог знать никто.

— Тебе нормально быть шутом? — спросил Хейзен, и вопрос вырвался прежде, чем он успел подумать. — В моем мире это оскорбление. Шут — это тот, кого не воспринимают всерьез. Тот, кто развлекает других, потому что сам ничего не умеет.

Шут замер. На секунду — всего на одну секунду — его фигура стала неподвижной, как статуя. Даже бубенцы перестали звенеть. А потом он выпрямился во весь свой огромный рост, и его длинные руки плавно развелись в стороны, как крылья.

— Я есть Шут, — сказал он, и в его голосе не было обиды. Не было гордости. Была простая, спокойная констатация, как если бы он сказал «небо голубое» или «трава зеленая». — Я есть Шут, и это не имя.

Хейзен нахмурился. Не имя? Значит, у него есть имя? Или нет? Он хотел спросить, но Шут уже заговорил снова.

— У тебя нет имени? — спросил Хейзен, но вопрос прозвучал не как вопрос, а как утверждение, потому что он вдруг понял, что Шут — это не имя. Это роль. Это маска. Это что-то, что он надел на себя, как надевают доспех или одежду.

Шут не ответил. Вместо этого он тихо засмеялся — не тем громким, раскатистым смехом, который сотрясал стены подземелья, а тихим, почти ласковым, как будто Хейзен сказал что-то забавное, но не настолько, чтобы смеяться в полный голос. Бубенцы на его воротнике отозвались едва слышным звоном.

— Долго тебе привыкать к этому миру, — сказал он, и в его голосе прозвучала странная, неожиданная мягкость. — А уже завтра встреча с королем.

Слова упали в тишину, и Хейзен почувствовал, как его сердце пропустило удар, а потом забилось чаще, сбивчиво, как пойманная птица. Король. Завтра. Он почти забыл об этом за разговором с Шутом, но теперь реальность вернулась, тяжелая, давящая, неумолимая.

— Я умру? — спросил Хейзен, и голос его прозвучал тихо, почти шепотом. Он не хотел задавать этот вопрос. Он боялся ответа. Но не спросить было страшнее.

Шут снова вытянул руку, и между его пальцев появилась одна-единственная карта. Он держал её рубашкой к Хейзену, и та странная символика — змеи, звезды, иероглифы — мерцала в свете факела. Потом он перевернул её. Хейзен увидел изображение: башня, в которую ударяет молния. Фигурки, падающие с её вершин. Что-то, похожее на корону, рассыпающуюся на куски. Символ был непонятным, но ощущение, которое он вызвал — тревога, неизбежность разрушения, — было ясным, как день.

— Карты говорят, что ты не умрешь, — сказал Шут, и его голос был ровным, без обычной игривости. Он убрал карту, и та исчезла так же внезапно, как появилась. — Дальше не знаю.

Хейзен выдохнул. Воздух вышел из легких со свистом, и он понял, что задерживал дыхание, не осознавая этого. Не умрет. Это уже что-то. Это больше, чем он мог надеяться.

Шут уже развернулся, и его длинная фигура, освещенная сбоку догорающим факелом, отбрасывала на стену причудливую, изломанную тень. Он сделал шаг в сторону коридора, и его ленты колыхнулись, бубенцы зазвенели.

— А теперь пока, — сказал он, и в его голосе снова зазвучала легкость, как будто разговор о смерти и картах был для него обычным делом. — Я хочу Кайнану мозги трахать.

Хейзен моргнул. Это выражение — такое знакомое, такое... земное — прозвучало в устах шута настолько неожиданно, что на секунду он забыл, где находится.

— В этом мире и такое говорят? — вырвалось у него.

Шут обернулся. Его маска блеснула в свете факела, и Хейзену показалось, что он видит за прорезями улыбку. Не глаза — улыбку. Это было невозможно, но он её видел.

— Еще увидимся, Торн, — сказал Шут, и его голос был полон обещания.

Он взмахнул руками, и в воздухе взметнулись карты — десятки, сотни карт, которые закружились вокруг него, закрывая фигуру сплошным вихрем белых крыльев. Шелест, звон бубенцов, мелькание символов — и когда карты опали на каменный пол, их уже некому было поднимать. Шут исчез. Растворился в воздухе, как и его карты, оставив после себя только легкий запах — странный, сладковато-пряный, похожий на ладан или на что-то, что жгут в храмах.

Хейзен остался один.

Он смотрел на пустое место, где только что стоял Шут, на карты, которые лежали на полу ровным слоем, но когда он моргнул, их уже не было. Только серый камень, только пляшущие тени от догорающего факела.

Хейзен медленно опустился на пол. Спина коснулась холодной стены, и он почувковал, как дрожь, которую он сдерживал весь этот разговор, наконец прорвалась наружу. Его трясло. Трясло крупно, неудержимо, зубы выбивали дробь, и он обхватил себя руками, пытаясь унять эту дрожь, но она была сильнее его. Слишком много за один день. Слишком много. Другой мир. Темница. Солдаты. Король. Шут, который знает о нем всё. Карты, которые говорят. Нога, которая пульсирует болью в такт сердцу.

Он сидел так несколько минут, может быть, час, прижимаясь спиной к стене, слушая, как капает вода, как потрескивает факел, как где-то далеко перекликаются солдаты. Дрожь постепенно утихла, сменившись тупой, выматывающей усталостью. Веки стали тяжелыми, как свинцовые пластины. Мышцы ныли, запястья саднило, нога горела огнем.

Хейзен посмотрел на пол камеры. Камень был холодным, сырым, покрытым тонким слоем грязи и, кажется, мха. Не лучшее место для сна. Но выбора не было. Он осторожно, стараясь не потревожить вывихнутую ногу, опустился на бок, подложив связанные руки под голову. Руки пахли веревкой и собственной кровью. Пол был жестким, холод пробирался сквозь свитер, сквозь джинсы, сквозь кожу, и Хейзен подтянул колени к груди, сворачиваясь в клубок, как испуганный зверек.

Он закрыл глаза. В темноте под веками все еще плясали карты — белые, кружащиеся, с символами, которые он не мог разобрать. Голос Шута звучал в ушах: «Ты будешь хорошей фигурой». Что это значит? Хорошей фигурой для чего? Для кого?

Мысли путались, теряли форму, распадались на отдельные слова, на звуки, на ощущения. Факел догорал, и свет становился все слабее, тени — все длиннее. Капала вода. Где-то далеко скрипнула дверь, и эхо покатилось по коридорам, затихая, затихая...

Хейзен провалился в сон, тяжелый, без сновидений, похожий на падение в черную, бездонную яму. Во сне он не чувствовал боли в ноге, не чувствовал холода каменного пола, не слышал капающей воды. Он просто плыл в темноте, и темнота эта была мягкой, теплой, обещающей покой.

Последнее, что он осознал перед тем, как сознание окончательно отключилось — это странное, необъяснимое чувство, что за ним наблюдают. Кто-то стоял за решеткой,

смотрел на него сквозь прорези маски или темные, усталые глаза, и смотрел долго, внимательно, изучающе.

А потом не стало и этого. Только тишина. Только холод. Только каменный пол темницы, на котором спал парень из другого мира, свернувшись калачиком, с вывихнутой ногой и сломанными очками в кармане, не зная, что ждет его завтра, когда придет король.

Кайнан поднимался по каменным ступеням медленно, тяжело, каждый шаг отдавался глухим эхом в узком коридоре, вырубленном в толще земли. Ступени были старыми — выщербленными, со стертыми краями, — и факелы, вставленные в железные держатели через каждые пять шагов, бросали на них неровный, пляшущий свет, превращая каждую трещину в глубокую морщину на лице древнего камня. Воздух здесь был другим — не сырым и спертым, как внизу, а тянущим с поверхности, пахнущим хвоей, прелой листвой и ночной прохладой. Кайнан вдыхал его полной грудью, чувствуя, как легкие расправляются после духоты темницы, и каждый новый шаг вверх был шагом от этого странного пленника с его бесконечными вопросами, от его круглых очков, от его голоса, который, казалось, въелся в сознание и продолжал звенеть там, как надоедливая муха.

Он вышел на поверхность, и ночной воздух ударил в лицо свежестью, смешанной с запахом дыма — в лагере горели костры, и их огни мерцали между палатками, разбитыми на поляне у подножия сторожевой башни. Небо над головой было темным, почти черным, но не пустым — две луны висели на нем, одна большая, бледно-голубая, вторая поменьше, красноватая, похожая на каплю крови, застывшую на бархате. Звезды здесь были другими — не теми, к которым он привык с детства. Они горели ярче, крупнее, и некоторые из них имели едва уловимый голубоватый или зеленоватый отлив, словно кто-то рассыпал по небу драгоценные камни.

Кайнан остановился на верхней ступени, положил руку на каменный парапет, и холод камня успокаивающе подействовал на ладонь, все еще сжимавшуюся в кулак от напряжения последних часов. Он смотрел на лагерь, на палатки, на фигуры солдат, которые двигались между кострами, и думал о том, что сказал этот мальчишка. Другой мир. Книга, которая засосала. Ни магии, ни мечей. Звучало как бред сумасшедшего. Звучало как ложь, которую придумал бы перепуганный мятежник, чтобы спасти свою шкуру. Но что-то в голосе Хейзена — в этой странной смеси паники, отчаяния и какой-то детской, почти трогательной искренности — не давало покоя. Кайнан видел много лжецов. Он научился распознавать ложь по тому, как дрожат зрачки, как дергается уголок рта, как меняется тембр голоса. У этого парня не было ни одного из этих признаков. У него был только страх — чистый, животный страх человека, который не понимает, где оказался.

Кайнан провел рукой по лицу, по шраму, который горел, как всегда, когда он уставал. Нужно было отдохнуть. Всего несколько часов до встречи с королем, а он — командир северной стражи, человек, который должен предстать перед троном с ясной головой и четким докладом, — стоял здесь и думал о том, правда ли то, что сказал пленный, или это самый искусный обман, который он когда-либо слышал.

И тут из темноты, из-за угла башни, вылетела фигура. Кайнан не вздрогнул — он слишком много лет провел на границе, чтобы вздрагивать от неожиданностей, — но его рука машинально опустилась на эфес меча, и пальцы сжали холодную сталь привычным, отработанным движением.

Шут выбежал из-за угла, и его появление было похоже на взрыв — стремительный, шумный, полный движения. Он бежал прыжками — не так, как бегают нормальные люди, а как-то по-своему: длинные ноги выбрасывались вперед, колени поднимались почти к груди, руки разлетались в стороны, ленты на поясе хлестали по воздуху, бубенцы на воротнике заливались трелью, и весь этот калейдоскоп бордового, черного, золотого, белого мчался к Кайнану, оставляя за собой шлейф звона и шороха.

— Кай! Кай! Кай! Кай! — голос Шута звенел, перекрывая треск костров и негромкие голоса солдат. Он подлетел к Кайнану и замер в полушаге от него, уперев руки в бока, его фарфоровая маска блестела в свете лун, а прорези для глаз смотрели на командира с выражением, которое можно было бы назвать восторженным, если бы маска вообще могла что-то выражать. — Привет!!

Кайнан смотрел на него сверху вниз. Даже без своих длинных ног, даже стоя на земле, Шут был выше него — выше почти на голову, и эта разница в росте всегда раздражала Кайнана, хотя он никогда бы в этом не признался. Он убрал руку с меча, но его челюсть сжалась так, что желваки заходили под кожей.

— Обращайся ко мне как положено, — сказал он, и голос его прозвучал жестко, с той металлической ноткой, которая заставляла новобранцев вытягиваться во фрунт и забывать собственное имя.

Шут наклонил голову. Белые волосы скользнули по маске, черная прядь упала на плечо, и бубенцы на колпаке тихо звякнули.

— Зануда, — сказал он, и в его голосе не было ни капли обиды — только констатация факта, произнесенная тоном ребенка, который уже сто раз слышал это и сто раз

проигнорировал. Он качнулся с пятки на носок, потом обратно, и его шаровары, разделенные на черную и бордовую половины, колыхнулись, как два разноцветных флага. — Кай. А тебе нравится Хейзен?

Кайнан уставился на него. Вопрос был настолько неожиданным, настолько неуместным, что на секунду он потерял дар речи. Ему, командиру северной стражи, человеку, который отдавал приказы, которые определяли жизнь и смерть, задавали вопрос, нравится ли ему пленный. Пленный, которого он должен был доставить королю. Пленный, который, возможно, был мятежником, а возможно — сошел с ума или лгал искуснее всех, кого Кайнан встречал.

— Нет, — сказал он, и слово вышло резче, чем он хотел. Он добавил, не глядя на Шута, глядя куда-то в сторону костров, где его солдаты возились с лошадьми: — И ты мне не нравишься.

Шут отступил на шаг, и его руки взлетели к груди, сложившись в жесте, который можно было истолковать как удивление или обиду — трудно было сказать, потому что маска не показывала эмоций.

— Обидно! — воскликнул он, и в его голосе действительно прозвучала обида, но она была какой-то наигранной, театральной, как будто он играл роль оскорбленного, но сам не верил в эту роль до конца.

Кайнан уже открыл рот, чтобы сказать что-то еще — может быть, приказать ему убраться, может быть, спросить, зачем он вообще пришел, — но не успел. Из темноты, от главных ворот лагеря, послышался тяжелый топот множества ног. Кайнан повернулся, и его рука снова легла на эфес меча — на этот раз не рефлекторно, а по-настоящему, потому что ночь, граница, и враг может быть везде.

Но это были свои.

Из полумрака выступили фигуры — десятка полтора солдат, закованных в такие же потертые доспехи, как у Кайнана, с теми же шрамами на лицах и руках, с той же тяжелой, уверенной поступью людей, которые привыкли доверять только своему мечу и своему командиру. Впереди шел высокий, жилистый мужчина с рыжей бородой, которую он заплетал в короткую косицу — тот самый, который связывал Хейзена в лесу. За ним — другие: широкоплечий блондин с расквашенным носом, низкорослый крепыш с сединой

в темных волосах, женщина с короткой стрижкой и шрамом на подбородке, чьи глаза смотрели из-под стального шлема с холодной внимательностью.

— Командир, — сказал рыжебородый, останавливаясь в трех шагах от Кайнана и прикладывая кулак к груди в коротком, резком жесте. — Что с пленником?

Кайнан смотрел на своих людей. Его людей. Тех, кто шел за ним в бой, кто делил с ним хлеб и кров, кто знал, что его приказ — это не обсуждается. Он чувствовал их взгляды — настороженные, вопросительные. Они видели, как он привез в лагерь странного парня в непонятной одежде, с вывихнутой ногой и болтовней, от которой у любого нормального человека задергался бы глаз. Они ждали объяснений.

— Завтра представим его королю, — сказал Кайнан, и его голос был ровным, командным, не терпящим возражений. — До утра он в темнице. Охрану усилить.

Рыжебородый кивнул, но в его глазах мелькнуло что-то — может быть, сомнение, может быть, любопытство. Он открыл рот, чтобы спросить что-то еще, но в этот момент из-за спины Кайнана показалась длинная рука в черном наруче, которая легла ему на плечо.

Шут выступил из-за спины командира, и это было похоже на то, как тень отделяется от скалы — медленно, плавно, неестественно. Он стоял за Кайнаном, его руки, унизанные кольцами, лежали на широких плечах командира, а сам он выглядывал из-за его спины ровно наполовину — левая половина его тела, левая половина маски, левое плечо с пышным рукавом-фонариком, левый глаз, который блестел в прорези маски живым, насмешливым огоньком.

Солдаты замерли. Рыжебородый, который только что задавал вопрос о пленнике, сделал полшага назад, и его рука дернулась к мечу — не осознанно, а на каком-то древнем, животном инстинкте. Женщина со шрамом на подбородке сузила глаза, и её пальцы сжались на древке копья. Блондин с расквашенным носом тихо выругался сквозь зубы.

— Выйди, — сказал Кайнан, и в его голосе не было просьбы. Это был приказ — холодный, четкий, как лезвие меча.

Шут не двинулся. Его руки по-прежнему лежали на плечах Кайнана, и его голова, увенчанная колпаком, склонилась чуть набок, так, что черная прядь волос упала на белое поле маски, создавая резкий, графичный контраст.

— Мне тут нравится, — сказал Шут, и его голос прозвучал почти мечтательно, как будто он стоял не в ночном лагере, окруженный солдатами, которые относились к нему с настороженностью, граничащей с ужасом, а где-то в теплом, уютном месте.

Кайнан медленно повернул голову. Его темные глаза встретились с прорезями маски, и в этом взгляде было столько тяжелой, накопившейся за день усталости, столько раздражения, которое копилось годами, что, казалось, воздух между ними сгустился и начал потрескивать.

— Пошел прочь с моих глаз, — сказал Кайнан, и каждое слово было отдельным ударом.

Шут замер. На секунду — всего на секунду — его руки сжались на плечах Кайнана чуть сильнее, и бубенцы на воротнике тихо звякнули. А потом он отпустил, сделал шаг назад, и его длинная фигура отделилась от командира, став самостоятельной, но не исчезла — она переместилась, и это перемещение было таким быстрым, таким неуловимым, что солдаты не успели проследить за ним взглядом.

Он прыгнул. Не оттолкнулся, не отпружинил, а именно прыгнул — вверх, в темноту, и его тело, такое длинное и нескладное на земле, в воздухе вдруг обрело странную, птичью грацию. Он взлетел на ближайшее дерево — старый дуб с раскидистой кроной, чьи ветви уходили в ночное небо, — и уселся на толстую горизонтальную ветку на высоте трех человеческих ростов от земли.

Он устроился на ветке с непринужденностью кошки, которая выбрала место для наблюдения. Одну ногу он подогнул под себя, устроив ступню на ветке так, что его шаровары собрались складками, обнажая черный носок сапога. Вторая нога свесилась вниз, длинная, почти достающая до нижних ветвей, и медленно раскачивалась, как маятник. Его руки он положил на колено подогнутой ноги, и его пальцы, унизанные кольцами, сплелись в замок. Колпак съехал на затылок, бубенцы замерли, и только ленты на поясе еще колыхались, успокаиваясь после прыжка.

Он сидел там, на ветке, глядя сверху вниз на Кайнана и его солдат, и в этом взгляде, в этой позе, в этом молчании было что-то древнее, что-то от лесных духов, о которых рассказывают в детстве, чтобы дети не ходили в лес ночью.

— Кай, — сказал Шут, и его голос сверху звучал иначе — дальше, глуше, но все так же звонко, как колокольчик на ветру. — Карты говорят, что ты...

Он сделал паузу. Его свешенная нога перестала раскачиваться. Бубенцы замерли. Тишина повисла над лагерем, такая плотная, что даже костры, казалось, перестали трещать.

— Что ты умрешь, — закончил Шут, и слова упали в тишину, как камни в колодец.

Солдаты замерли. Рыжебородый перекрестился — коротким, суеверным жестом, который он, наверное, сам в себе ненавидел, но сдержать не мог. Женщина со шрамом опустила копье, и его острие воткнулось в землю. Блондин с расквашенным носом тихо выдохнул что-то неразборчивое, похожее на проклятие.

Кайнан не двинулся. Он стоял, глядя на дерево, на фигуру, которая сидела на ветке, свесив ногу, и его лицо было непроницаемым. Только желваки заходили на скулах, и шрам, пересекающий лицо, побелел — там, где кожа натянулась до предела.

— Мне плевать на твои карты, — сказал Кайнан, и голос его был таким же ровным, как если бы он обсуждал погоду или планы на завтрашний патруль.

Шут не ответил сразу. Вместо этого он откинулся назад, и его тело, до сих пор сидевшее на ветке с относительной устойчивостью, вдруг наклонилось, перевалилось через край, и он повис вниз головой, держась коленями за ветку, как акробат в цирке. Его белые волосы рассыпались вниз, почти касаясь земли, колпак слетел, повиснув на завязках, и бубенцы залились трелью, громкой, веселой, неуместной. Ленты на поясе взметнулись вверх, подчиняясь гравитации, и весь он — длинный, разноцветный, с белой маской, обращенной к земле — раскачивался на ветке, как огромный, безумный маятник.

— Очень зря, — сказал Шут, и его голос, перевернутый, звучал странно, с каким-то булькающим призвуком, как будто он говорил из-под воды. — Лучше верь мне. Мы так давно знакомы.

Он раскачивался, и тени от костров плясали на его маске, на его волосах, на его одежде, превращая его в причудливый, сюрреалистический образ — шута, который гадает на картах, шута, который знает то, чего не должен знать, шута, который висит вниз головой и говорит о смерти.

Кайнан смотрел на него. Он смотрел на этого человека — или то, чем этот человек был, — которого знал уже много лет, но никогда не знал его имени. Никто не знал его имени. Он появился однажды, много лет назад, при дворе, с маской на лице и колпаком на голове, и сказал: «Я Шут». И с тех пор он был Шутом. Он танцевал, он гадал на картах, он появлялся в самых неожиданных местах, он говорил странные вещи, которые иногда сбывались, а иногда — нет. Кайнан не верил в его карты. Кайнан не верил ни во что, кроме стали, силы и своего меча. Но он знал, что Шут — это не просто шут. Он был чем-то большим. Или чем-то меньшим. Кайнан так и не решил.

— Я знаю только то, что ты шут, — сказал Кайнан, и каждое слово было тяжелым, как свинец. — И то, что я хочу тебя убить.

Он сказал это без злобы. Без угрозы. Это была просто констатация факта, такая же обыденная, как «небо темное» или «костер горит». Кайнан действительно хотел убить Шута. Хотел уже много лет. Иногда ему казалось, что это единственное желание, которое объединяет всех, кто когда-либо сталкивался с этим существом в маске.

Шут перестал раскачиваться. Он замер вниз головой, его волосы замерли, бубенцы замолкли, и в этой неподвижности было что-то тревожное — как в змее, которая замерла перед броском.

— Скоро будет революция, — сказал Шут, и голос его был тихим, но в этой тишине ночи, среди замерших солдат и потрескивающих костров, он прозвучал как удар грома. — Помни об этом.

Кайнан почувствовал, как его пальцы сжались в кулаки. Революция. Это слово было у всех на устах уже несколько месяцев. Мятежники на юге, недовольство в городах, шепотки в тавернах, которые перерастали в открытые разговоры. Он знал об этом. Он знал, что король собирает войска, что границы закрываются, что в столице готовятся к худшему. Но слышать это от Шута, который висел вниз головой на дереве, было почему-то страшнее, чем от любого другого источника.

— Я и так знаю, что мятежники строят козни, — сказал Кайнан, и его голос прозвучал резче, чем он хотел. Он чувствовал взгляды своих солдат — они смотрели на него, на Шута, на дерево, и в их глазах был страх, смешанный с любопытством. — Я не нуждаюсь в твоих предсказаниях.

Шут, не меняя позы, медленно поднял руку. Его длинные пальцы, освещенные снизу светом костров, казались прозрачными, почти призрачными. Он покачал ими из стороны в сторону, как учитель, который говорит ученику: «Неправильно, неправильно».

— Ты ничего не знаешь, — сказал он, и в его голосе не было насмешки. Было что-то другое — сожаление, может быть. Или усталость. Такая же глубокая, как у Кайнана, но совсем другого свойства.

А потом он отпустил ветку.

Это было не падение — это было движение, такое же плавное, как его появление из темноты, такое же неестественное, как его танец с картами. Он перевернулся в воздухе, его тело выпрямилось, волосы взметнулись вверх, колпак взлетел и снова опустился на голову, бубенцы зазвенели, и он приземлился на землю совершенно бесшумно, на полусогнутых ногах, с грацией хищника, который охотится в темноте.

Он выпрямился во весь свой огромный рост, и его тень, отброшенная костром, вытянулась до самых палаток, делая его похожим на великана из детских сказок. Он покружился — один раз, медленно, раскинув руки, как будто обнимал ночь, — и его ленты взметнулись, шаровары вздулись, бубенцы залились долгой, затихающей трелью. А потом он шагнул к стене — старой каменной стене, которая окружала лагерь, — и его фигура, длинная, разноцветная, с белой маской, начала таять в её тени. Он не прошел сквозь стену — он просто стал её частью, растворился в ней, как кусок сахара в воде, и через секунду от него не осталось ничего, кроме слабого звона бубенцов, который уносился куда-то в ночь, затихая, затихая, пока не исчез совсем.

Солдаты молчали. Рыжебородый смотрел на стену, на то место, где только что стоял Шут, и его лицо было белым, как мел. Женщина со шрамом крепко сжимала копье, и её пальцы побелели на древке. Блондин с расквашенным носом тихо выругался — на этот раз отчетливо, и в его голосе слышался страх, который он пытался спрятать за грубостью.

Кайнан стоял, глядя на пустую стену, и чувствовал, как где-то глубоко внутри, под слоями стали, командной выдержки и многолетней усталости, шевелится что-то, похожее на страх. Не за себя. За то, что Шут сказал о революции. За то, что он сказал о смерти. За этот странный, чужой мир, в котором даже карты могут говорить, а шуты исчезают в стенах.

— Отдыхайте, — сказал он своим солдатам, и голос его был твердым, командным, не оставляющим места для вопросов. — Завтра выступаем на рассвете.

Солдаты разошлись, но их шаги были тяжелыми, и они переговаривались шепотом, и в этом шепоте Кайнан слышал свое имя, и имя Шута, и слово «революция», которое висело в воздухе, как запах грозы перед бурей.

Кайнан остался один. Он стоял у костра, смотрел на огонь, и думал о том, что сказал Шут. И о том, что сказал пленный. И о том, что завтра он должен предстать перед королем с докладом о человеке из другого мира, который упал из книги, и о шуте, который предсказывает революцию.

Он потер шрам — старую привычку, которая появлялась, когда он думал о чем-то слишком долго и слишком тяжело, — и повернулся к башне. Внизу, в темнице, спал парень с кудрявыми волосами и вывихнутой ногой, который, возможно, был ключом к чему-то большему, чем просто очередной мятеж. А может быть, он был просто сумасшедшим, которого утром казнят, и всё.

Кайнан шагнул к башне, и его шаги гулко отдавались в ночной тишине. Луны светили ему в спину, звезды горели над головой, и где-то в темноте, может быть, всё еще звенели бубенцы Шута, который растворился в стене, оставив после себя только слова, которые Кайнан не мог забыть, как бы ни пытался.

Утро пришло в крепость не с рассветом — рассвет здесь был поздним, тяжелым, солнце поднималось медленно, пробиваясь сквозь плотную пелену тумана, который стелился над землей, окутывая стены, башни и двор белым, непроницаемым покрывалом. Влажный холод просачивался сквозь камень, сквозь дерево, сквозь одежду, и даже в коридорах замка, где горели свечи и камины, чувствовалось это утреннее дыхание осени, которое пробирало до костей.

Кайнан поднялся затемно. Он никогда не спал больше четырех часов — привычка, выработанная годами на границе, где ночь была временем опасности, а сон — роскошью, которую редко можно было себе позволить. Он умылся ледяной водой из колодца, надел чистый камзол поверх кольчуги, проверил меч — не потому, что собирался использовать его при дворе, а потому, что не выходил из комнаты без оружия уже двадцать лет, — и вышел в коридор.

Коридоры замка были пусты в этот ранний час. Только стража у главных ворот перекидывалась негромкими фразами, да где-то вдалеке слышался звон посуды — слуги готовили завтрак для обитателей замка. Кайнан шел быстрым, тяжелым шагом, его сапоги гулко отбивали ритм по каменным плитам, и эхо разносилось по высоким сводчатым потолкам, теряясь в глубине коридоров.

Он повернул в восточное крыло, где располагались покои короля, и на полпути, у перекрестка двух коридоров, столкнулся с человеком, которого не ожидал увидеть здесь в такой ранний час.

Генерал королевской армии, Дориан Векс, стоял у высокого стрельчатого окна, прислонившись плечом к каменному простенку, и рассматривал что-то на ладони — возможно, письмо, возможно, карту, возможно, просто делал вид, что занят, чтобы не заговаривать первым. Он был высок, даже выше Кайнана, но совершенно другой породы — сухой, жилистый, с длинными руками и узкими плечами, которые делали его похожим на паука в парадном мундире. Мундир был безупречен — темно-синее сукно, золотые галуны, орденская звезда на груди, начищенные пуговицы, которые блестели даже в сером свете утра. Его лицо было вытянутым, с острым подбородком и глубоко посаженными глазами цвета старого серебра, и эти глаза смотрели на мир с выражением вечной, холодной оценки. Волосы, русые с обильной сединой, были зачесаны назад и скреплены у затылка узким кожаным ремешком, открывая высокий, морщинистый лоб.

Кайнан замедлил шаг. Векс не был его другом — в королевской армии у него вообще не было друзей, — но они были коллегами, и Кайнан уважал его за то, что Векс был профессионалом. Холодным, расчетливым, иногда жестоким, но профессионалом.

— Командир Рив, — сказал Векс, поднимая глаза от своей ладони, и его голос был тихим, вкрадчивым, как шорох змеи по песку. Он не приветствовал Кайнана жестом — Векс вообще редко приветствовал кого-либо жестами, считая это излишней театральностью.

— Генерал, — ответил Кайнан, останавливаясь в двух шагах от него. Он не стал спрашивать, что Векс делает в этом крыле в такой час — это было бы проявлением слабости, любопытства, которого Векс не прощал.

Векс убрал предмет с ладони — Кайнан успел заметить, что это был небольшой пергамент, свернутый в трубочку и перевязанный черной лентой, — и сунул его в рукав мундира. Его серебряные глаза скользнули по лицу Кайнана, задержались на шраме,